Pustoy



Девять ужинов при лунном дворе

Pustoy

Девять ужинов при лунном дворе

«Автор»
2026

Pustoy

Девять ужинов при лунном дворе / Pustoy — «Автор», 2026

У Руты Мял есть харчевня на паях, мечта о собственном зале и девять вечеров, чтобы накормить лунный двор. При дворце даже соль теряет вкус, если повар солгал о том, откуда она взялась. Готовить Рута умеет. Рассказывать придворным о себе за право подать горячее она ещё не нанималась.Дегустатор Саэль Нер знает, какие признания способен услышать старый стол. Он же первым замечает, когда Рута обжигает руку, и последним уходит из её кухни. К девятому ужину за столом решится судьба соляных лодок. А Руте с Саэлем придётся выяснить, что они готовы сказать друг другу, когда никто за это не платит.Текст романа и иллюстрация обложки созданы с помощью искусственного интеллекта.

© Pustoy, 2026
© Автор, 2026

Содержание

Глава 1. Суп за пуговицу 6
Глава 2. За девять вечеров 10
Глава 3. Право на горячий чай 14
Глава 4. Суп, который придумала женщина 18
Глава 5. Луна без ужина 23
Глава 6. Две клешни 27
Конец ознакомительного фрагмента. 28

Pustoy
Девять ужинов при лунном дворе

Pustoy
Девять ужинов при лунном дворе

Глава 1. Суп за пуговицу

В Верхней Соте покойника отличали от повара по шнурку. Покойника зашнуровывали сзади, повара спереди, чтобы мог на ходу распустить куртку и возле печи издохнуть хотя бы не от жары. На третий день соляной ярмарки Рута Мял обнаружила ещё одно существенное отличие. Покойнику всё-таки дают полежать.

На соляной причал его несли во главе длинного печального шествия. Рута шла сразу за фонарщиком, придерживая бедром горячую лохань с обедом для судовых сварщиков. Там, на дальней пристани, люди получали полчаса на еду, и уже семь минут из них потратили на прощание с совершенно незнакомым человеком. Но можно ли обгонять чужие похороны, исторический центр Фарры так и не решил. За дождь в праздничный день городской совет назначил ответственного. Выработать порядок обгона погребальных процессий у совета руки не дошли.

— Подровняй немножко, мать. У тебя течёт.

Фонарщик поднял ей правую ручку лохани, и Рута увидела, что говорить с ней он всё-таки может: в его религии ещё не пришли к единому мнению о поварах.

— Спасибо. И земля ему пухом. Как звали?

— Дядя Стах. Всюду дядей звали, даже его старший брат. Ситечки паял. Знаешь, с такими мелкими полукруглыми дырочками?

— Для муки?

— Для костей. Ребёнок ест себе варёную щуку и всюду тычет за щёку языком: есть кость или нет? А если через дядину штучку рыбину провести, так от костей одна аккуратная расчёска остаётся. Золотые были руки.

По пути разветвилась набережная, траурная процессия спустилась под медный навес к тихой пристани. Сварщики, у которых голод оказался значительно сильнее соблюдения строгой очереди, занесли её лохань под соседний козырёк, сняли крышку и выпустили из котелка сноп рыбного пара. Один из них так и стоял с закрытыми глазами, пока его соседи рылись на дне половниками. На это Рута обычно и рассчитывала. За хорошую кухню платят монетой как за всякую другую. Но нельзя уговорить человека закрыть от одного твоего супа глаза. Не уговоришь, пока самой не захочется так же делать каждый раз, когда открываешь над печкой крышку.

Было уже почти часов двенадцать. Двое ребятишек с носами в зелёнке прибежали от соседнего причала — городские матери провели на соляных складах беспощадную борьбу с насморком — и без слов протянули ей обыкновенную торговую книжку с одним обещанием матери на всех. «Как только заведутся деньги, отдам», очень красивым почерком, без даты и подписи. По дыре, проеденной мышью возле «д», Рута сразу узнала свою работу.

— Вы хоть меня-то в этой фальшивке уважайте. Я её Стеше показывала неделей раньше. С тех пор это и есть две рыбки натощак, пока опять не попросите даром.

— У нас хорошие луковицы, — сообщила одна девочка и с готовностью полезла обеими руками за шиворот к другой.

— Луковица за ответ. Почему у меня рыба поёт? Кто знает, получает рыбку и картошку.

У койры, которой выстилали спуск к выгрузке, в желтоватом луче парили девять прозрачных свёртков. По правде говоря, эти девять свёртков обошлись ей дороже всего огромного обеденного чана. В них трепетали мелкие кильки в хрустящих бумажных шубках с лавровым маслом и сахаром, а под слоем начавшего таять пергамента возникал, усиливался, креп и сердито обрывался тоненький чистый свист. Потом на смену одной голосистой рыбёшке принималась выть другая.

— Моя мама говорит, что рыбы поют перед смертью, — счёл нужным вступить в общий разговор один из сварщиков. — Больше времени нет.

— И после полудня ни одной ноты, — добавила его соседка. — О чём она станет тогда петь на нашей последней марке?

Ответов у Руты было восемь, и она с удовольствием собиралась выдать всем по очереди и завести таким образом целую душевную дружбу с портом. Однако люди с удовольствием разошлись. Им уже пора было лезть обратно в починку грузовых ворот; через несколько минут сюда должны были причалить две островные барки, а на островах, где с каждым годом соли хватало на большее количество рыбы, всё реже находилась лишняя монета, чтобы привезти рыбу на материк. Девчонки убежали смотреть на сходни. Песчинка точилась под Рутиным прилавком, капало из давно продырявившегося бака, и в тёплом песке за тенью от лохани лежали ровно две неучтённые картофелины.

— Послушайте, — сказал незнакомец. — Я бы вам вернул одну, если всё-таки угадаю.

Высокий, темноволосый, в огромном непромокаемом плаще. Нос у него имел своё собственное, совершенно отдельное от общего выражение — угловатый, с переломом на высокой переносице, и всё-таки с каким-то негромким изяществом на конце, так что Рута в первый миг посмотрела именно на нос. Вторым делом следовало заметить, что плащ на этом человеке с чужого плеча: пряжка внизу была застёгнута аккуратно под его правым локтем, а левая пола волочилась по горячим доскам. Некоторым мужчинам в порту не следовало бы задумываться о том, почему в их присутствии женщины улыбаются: довольно было посмотреть перед уходом на себя в зеркало. Ей, между прочим, тоже следовало бы взглянуть. С утра отломился от ручки лоханки большой кусок сухой щепы. Судя по характерному медовому зуду над грудью, он давно устроился под курткой и тоже был до чрезвычайности доволен своей жизнью.

— Вы не островитянин. Те сначала узнают цену.

— Двенадцать медяков, — сказал он. — Я стоял на предыдущей пристани и видел, сколько с вас потребовала молочница за своё отбившееся от подводы утро. Смотреть здесь бесплатно?

— Это как кому. Вы можете смотреть на обе руки, вам даром. Что случилось с плащом?

— То, что должно иногда случаться с плащом у порядочного человека в жаркий день. Отнёс завтрак одному родственнику. Вышел от него в его же плаще и не узнал своего несчастья, пока другой родственник не сообщил мне, что жалованье благополучно повесил в доме первого рядом с собственной шляпой.

— Вы от него воду приносили?

— Ему. Килька у вас ещё не утихла? Разрешите.

Не трогая рыбу руками, он склонился над выходящим понемногу паром и на мгновение заслонил от неё жаркий прямоугольник солнца. Сначала опустил ладонь сбоку, потом поднёс к маленькому разрыву в бумаге внешний край ложки. Свист на одну секунду перешёл на низкую ноту и кончился. Рута незаметно приблизилась к нему. Хорошая рука. Откинута боком, так что из котла никогда не польётся кипяток на пальцы; почти все заезжие умники, решившие с полуслова покорить её умным видом, начинали с того, что обжигались.

— Бумагу сворачиваете тёплой, по диагонали. На самом остром конце под нос рыбе подкладываете согнутый конец шпажки вместо прокладки. Потянете шпажку, останется отверстие. Масло нагреется в соку, наружу сквозь это отверстие потихоньку идёт пар. Продастся ли, если назовёте проще: «Свисток»?

— На словах красиво. Попробуйте, и если не расползётся свёрток, то вам, считайте, тоже сошло с рук.

И тут он сделал то, чего она от него никак не ожидала. Взял руками рыбину, ещё раз завернул так легко и естественно, будто всю жизнь только этим и занимался. Загнул уголки в другую сторону. Положил над углём и добился вполне чистого, гораздо менее пронзительного, чем у неё, звука.

— Братец... — вырвалось у Руты, и оба они взглянули друг на друга так запросто, как если бы весь этот чудный тёплый свист прожили когда-то сами, на одной кухне в двух разных тёмных углах. — А почему вы сказали «вторая картошка»? Мне показалось — так щедро!

— Видите ли, наличными меня сейчас не снабдили. А я не ел.

— Голодный знаток рыбы, который убегает с родственной кормёжки. Славно. Сытая я могу любить почти любого, голодная беру залог.

Он расстегнул плащ. Под ним оказалась просторная жёлтая рубаха. У горла застёгнута на огромную перламутровую пуговицу. На пуговице синим было вырезано прелестное лицо в окружении цветочных лепестков, с четырьмя огромными дырками, как будто огорчённое насекомое решило посмотреть одновременно во все стороны. Незнакомец повернул верхнюю часть полукругом, отделил резной перламутр от простой железной застёжки, сунул ей в ладонь. Такой дурацкой, ужасно походившей на своего хозяина пуговицы, думала Рута, ей и за сто лет больше не найти.

— Договорились. Ваш суп.

Уже было снято с костей рыбное филе, уже был придавлен донышком кружки пучок местного лука, что придавал сливочной основе пряный запах (выжать сок, когда тяжёлый корешок ещё горячий; иначе только глаза щиплет), когда на солнце возле прилавка появились двое. Один — Рутин беглый помощник, сбежавший час назад ловить пса с кличкой Ромашки и теперь с гордостью тащивший в пустой цветочной вазе возмущённого ужа. Второй — мальчишка в форменной куртке и серебряных кольцах. У этого в руках была куриная кость, кажется, накануне кем-то тщательно обглоданная.

— Не мне, — сказала она. — По ошибке прислали.

— Тут две полоски на широком конце, вы Мял. Светлая насечка, вы женщина. Глубокая ёлочка, вы с Черпальной. Жирное пятно, вы уже имели с нами дело. И как называется, скажите, ваш дом?

— «Полмиски». Ну что ж, у меня ёлочка, а у тебя что, если я спрошу, как тебя звать?

— Роке Пятёрка. Потому что дед вместо фамилии на свидетельстве поставил от радости самую лучшую свою цифру. Был Сольник, сделался Пятёрка. Отец родился как раз весом пять фунтов.

Лохматая, острая куриная кость раскрылась в Рутиных руках. Этот способ посылать нанимавшимся поварам королевские вызовы существовал лет триста, и в первый раз в своей жизни Рута подумала, что ни один правитель, собственноручно доставший из курицы эту поганую косточку, никогда не потребовал бы от подданных доставать их ежедневно ещё триста лет. Внутри нашлась свёрнутая тоненькой трубочкой бумага, жёлтая с чернильной монограммой двора.

«Приглашаем в старую Лунную столовую Королевского двора Фарры для приготовления вечерней трапезы. Количество трапез — девять. Обычное вознаграждение в размере...»

Она прочла сумму. Посланец почти героически зажмурился. Занятый супом едок замер, держа ложку у губ.

— За девять дней? — сказала она.

— За один вечер, — удивлённо ответил едок.

— А бумагу вы писали?

— Имел бы честь, — сказал тот с сомнением.

— На бумаге так не написано. «Обычное вознаграждение» у нас с вами, дорогой мой, очень разное. За эти деньги двадцать пять человек сделают два крепления для шлюпки. И пообедают у Руты Мял. Кто у вас умер?

— Никто не умер, — вмешался Роке. — Раузу, нашему кондитеру, белёной капустой перебило подъём. Потому что он варил молочные орехи и наступил на неё, а то бы он вам сейчас рассказал, что ваше простое деревенское варенье ему на одной руке...

Парнишка ужасно смутился и замолчал. Чёрт бы побрал этих взрослых, которые заранее и задаром учат ребёнка чувствовать вину за то, что ему поручили передать.

— Прекрасно сказано. Хотя я городская. Раузу скажи, что он может обо мне хоть в три руки думать, лишь бы поскорей встал на обе ноги. А моего доброго друга Марка спросишь особо, понял? Если он действительно хочет поставить меня над своей печкой, пусть для начала поставит на окно старый чугунок. Чтобы я с улицы увидела.

Немножко странно было произнести вслух «моего доброго друга», не почувствовав совсем объятий из прошлого. Нет, просто старую ручку от сковороды, нагретую до той самой температуры, когда ещё не знаешь, что обжёг ладонь, а боль уже с тобой. Незнакомец поднял брови и сам поднёс к солнцу остаток записки — нижний край с жирными пятнами.

— Друзья с таким выражением не рассказывают о чугунках.

— Когда нам с вами случится подружиться, будете выслушивать ещё и про кастрюли. Последние слова, если вам до них есть дело, таковы: в половине второго я буду дома на Черпальной. Вечером могу поглядеть кухню у вас во дворце. И тогда назову цену. А сейчас, если вам нехорошо без пуговицы, заберите обратно. Я запишу долг. «Тому человеку, который ездит на Короткую пристань в чужом плаще. Двенадцать медяков». Больше у меня вечно к вам не будет претензий.

— Это невесело, — сказал он, снимая крепившуюся у него на запястье крышечку дорожной чернильницы. — Что до претензий, я бы ещё посмотрел. Записывайте по-честному.

Он щёлкнул ногтем по ободу пуговицы. На перламутровом донышке было нацарапано «Есть лучше». Так могла изъясняться его маленькая огорчённая рожица в цветочных лепестках; не растягивать же ей одним спасительным приговором целое предложение. Записался он зелёными чернилами поперёк оборотной стороны их служебной бумажки. «Расписка за обед, один верный ответ и три картофелины. Цена честная».

Подпись оказалась до того короткая, что Рута успела прочесть её ровно в ту минуту, когда передняя пола мужского чудовищного плаща повернулась на углу и исчезла за ящиками.

Саэль Нер, старший придворный дегустатор.

Оставалось придумать, что ей делать с этим богатством. Роке за её левым плечом с увлечением глядел, как плавает в примятой медной вазе цветочный уж. В руках у неё лежали пуговица, коротенькое недоразумение по поводу огромных денег и законное право сердиться на сотрудника преуспевающей кухни, который сожрал три картошки, а похвалил только свисток.

Глава 2. За девять вечеров

До «Полмиски» они с Роке добрались порознь. Он срезал по длинной нижней улице с узким мостиком через сточную канаву. Рута в этом месте всегда ходила по верху. Под конец улицы чужой мальчик принял лохань с одного края, развернул её боком и подал за дверь молочницы, где по утрам делали заказы заречные хозяйки.

— У меня на сегодня всё, — сказала Рута. — Даже косточку кривую на завтра сберегла. Где Стеша?

— У неё коза в коляске.

В коляске, за которую раньше по душевнобольной части службы возили престарелую хозяйку с этажеркой для жареных семечек, сидела закутанная в плед пёстрая коза. Ноги торчали из-под полога как весёлые бельевые рожки. Коза жевала кисть, и никому вокруг неё не было ни завидно, ни жутко от этого растущего у всех на глазах запаса непринуждённости. Стеша стояла рядом и считала, сколько уже раз за сегодня скидалась ей на козу эта же самая торговая улица. От двух кувшинов персикового цвета до круглого сундука со скамеечкой у пола всё вокруг неё было хорошим, высоко оплачиваемым делом. А коза, вдобавок, живой.

— Ты её купила!

— Я её купила, — сказала Стеша. — Два года встаю в четыре утра, разношу чужое молоко, на ночь веду счёт. Хочу получать за всё сразу, а не только за крепкие ноги. Утром к ярмарке успеем. Как у тебя вчера?

— Возьмут во дворец. На девять ужинов.

— В таком случае заплати мне три шестака, пожалуйста.

— За что?

— Умная ты. За молоко в твоём супе, на нём что, уже герб двора появился?

Засмеялись. Рута передвинула лоханку с придвинутой кем-то в плотный торцовый угол доски на крепкие руки нового лодочника. Тот уже стоял с полной прежней корзиной, но нечего было считать, что если одну женщину сегодня вызывали во дворец, так остальные привыкли ждать, когда она выйдет из колеи. Две женщины тут же опрокинули лохань в свёрнутый ящиком брезент. С заднего двора особенно ощутимо воняло жареными подпалинами, знакомое чувство, когда что-то дорогое и спорное в твоём доме без тебя опустили до белого жара.

— Только скажи ему про три мокрые корочки у своей левой руки, — попросила Стеша. — Я знаю по усам.

Матвей в натопленной кухне снимал с малого утреннего хлеба горбушки. Не воровал, а делал им публичное одолжение. Делал тонким деревянным ножом, потому что обыкновенной сталью он сам любую волю Господню в два движения нечаянно бы разрезал. Младший поварёнок Фома от волнения, что ли, хлопал ресницами. На одном веке у него чернела тоненькая ржаная заноза.

— Ну-ну, — сказала Рута взглянувшему на её щёки Матвею. — Ты за девять вечеров, даже если станешь понемногу подъедать прибыль в конце недели, всю «Полмиски» не съешь.

Он повернулся, продолжая жевать.

— Высокая должность? С длинным дежурством? А кто ж меня будет палкой бить у пирога, если тебя заберут?

— У тебя сейчас эта самая высокая должность — половинный собственник «Полмиски». На вечера пока я там, если мы с Марком договоримся, надо повара. И одного человека рядом с тобою у кассы.

— Другого кого-нибудь на почин, может, у Ташки?

Ташка пять лет на одних материнских щах умудрилась открыться в гончарном ряду и выпускать уже три разных по цене горшка, не меняя рецепта. Люди платили за место, где

хотели сидеть: у выхода по полцены, у печки больше, а за тоненькой занавеской от прошлогоднего вдовьего платья особая плата за удовольствие поговорить без её родственной осведомлённости. Рута у Ташки выучилась лучшему делу, какого не умела её мать, — вовремя отправить человека ужинать домой, к своим заботам.

— Фома может вести лапшу сам, его два года учили, — сказала Рута. — Вдобавок на ночь в гавани с пятницы две лодки чинят. Там собирается оказаться один недоношенный повар, который морем жить задыхался и после того, как бросил свою посудницу, кстати сказать, всю ночь эту самую посуду перемывал ей со слезами.

— За бесплатно вряд ли.

— А с чего бы за бесплатно? — Она подержала косточку двумя пальцами. На просвет в ней темнела длинная кораллёвая чёрточка, как если бы лениво сердилось то невеликое животное, чью часть пришлось использовать на государственном обеде. — Ты от своих изобретений только на сахарной репе шесть серебряных выиграл.

— Два из шести уплатил за твою школу при храме, — по инерции ответил Матвей.

— Когда мне было восемь с половиной, — сказала Рута. — Сейчас мне тридцать четыре. За три промежуточных срока эта репа уже Её Величество обогнала по возрасту, кроме отдельных частей Её Величества, о которых не доводилось мне величаво судить.

В маленьком, предельно зелёном проёме задней двери показался понурый до ненависти к сытой пище знакомый долговязый мужчина. В волосах у него застряло несколько рыбьих чешуек. Когда он тряхнул головой, чтобы избавиться от них, они так славно засверкали, что Фома фыркнул прямо в котёл.

— Говорят, можно здесь заработать немного денег, если согласен съесть первое собственное блюдо, — сказал он. — Это либо объявление для настоящих смельчаков, либо ты опять варила кашу, Фома Тушин?

— Я стирал в твоей раковине сентябрьские портки. Если не хочешь есть — прополощи.

Те, кто в жизни не видел с бывшими возлюбленными достойных ненависти отношений, считали обыкновенный мир между ними временным поражением одного из двоих. У Яша и Руты мир длился почти семь лет. Сначала, конечно, им яростно хотелось принести друг другу побольше удобных дров для разведения антисемейного скандала. У дверей «Полмиски» даже поставили как-то на неделю две разные ручки, чтобы не браться за одну. А потом сначала ушла от давнего кашля мать и разница между этически правильными ручками разом показалась весь день колотившему крышку Яшу бессмысленной, а после у самого Яша увели лодку и он пришёл к Руте с одной мокрой верёвкой в руках. Она выдала ему голый матрас, отвела к сушилке панталоны. Выпустила утром вместе с кошкой, и с тех пор их совместное несостоявшееся завтра считалось между ними совсем как старая лодка, которую когда-то подняла вода. Может, ещё кто-нибудь на ней переплывёт, а если нет — и горевать нечего.

— Семь жаровень, девять вечеров, — сказала она. — Постоянные гости, их бобы варит Фома. Завтра и восемь раз после полнолуния. На самом полнолунии ест город, двор занят другим, я ещё дома. Предполагаю взять аренду на бывшую речную трапезную, если получится. Два серебряных за вечер из наших общих, плюс ужин. Достаточно?

Яш посидел на табурете.

— Один и четыре медных, если я здесь не играю в твоего доброго супруга и на кассу не иду. Деньги оставь на свою возню с медными трубами. Воды на настоящем судне испить уже нельзя, изо всех дыр всё равно морская. Фома мне выйдет вправо или влево?

— Куда сам сочтёт удобным. Бумаги за нас отец подпишет.

Матвей возразил, что давно всё подписывает одним пальцем, кроме собственного желания остаться от них в совершенной неизвестности. Это значило согласие. Яш со Стешей затеяли спор насчёт козьих киваний, Фома попробовал открыть правую печную заслонку, как советовала Рута, чуть выше, не боясь жару. А в голосе Руты вдруг отозвалось то нестерпимо чистое

звучание, от которого даже хорошо стукаться тёплым сердцем: её действительно ждал тот верхний город, ей только оставалось узнать, сколько он намерен заплатить за девять её собственных вечеров и что имеет дать она взамен.

Трапезная рыбаков стояла у воды на проходе между каменным плечом старого зернового водопада и домиком весовой. При половодье вода поднималась ей почти до подоконников. В этом месте на средней перемычке белели шесть крошечных коротких нот и буква в жирном бельевом карандаше. В восемнадцать лет Рута поклялась поставить здесь чёрное концертное пианино. Такое стояло в салоне у главной почты. Когда там откидывали крышку и брали первый аккорд, ложечки в почтовом буфете подпрыгивали, как живые. Позже она придумала другое: повесить здесь светло-жёлтые занавески, поставить длинный стол. Пусть гости видят, кто жарит им капусту и готовит рис с огурцами. И по вечерам, как стемнеет, давать играть тем женщинам, которым днём некогда: одна на валторне, у второй громадный контрабас, третья поёт и бьёт в лёгкую медную тарелочку. У четвёртой только ступня колотит по барабану. Гораздо лучше одного огромного задумчивого инструмента, на котором всё равно никто из знакомых Руте людей не умел играть.

Тая Порч мерила оконные проёмы стальной портновской рулеткой. Вокруг на переносной серой верёвке сушились синие сорочки умершего ещё в молодые годы мужа: он собирался носить эти сорочки до поздней старости, а овдовевшая ещё раньше поздней молодости Тая всё-таки в них состарилась. Тая перешагнула шестой десяток, а на лестницу всё ещё взбегала через ступеньку.

— Я предлагаю за Синий зал, — сказала Рута, пока было время начать на цифрах, — столько же, сколько в прошлом году предлагали за садовую часть. Отдельно за сушильню и отопление дровами, кто принесёт. Летом жильё под крышей использовать не собираюсь.

— За маленькими дровами из заречной части тебе всё равно придётся лезть в эту щель. Поставишь свой запасной тюфяк возле одной из несущих стен. Ко мне потом людей с предъявленными правами жить в твоём собственном договоре не отправляй. Сколько денег предлагаешь впереди этого всего?

— Двадцать семь серебряных, — сказала Рута, мысленно прибавив к ним покуда не полученную ставку. — Через неделю добавлю ещё сколько выйдет. Мне нужно поставить в первом году только столы и закупиться на промежуток, пока появятся люди.

— Мне нынче шестьдесят предложено за первый взнос. Я не продаюсь, Рута. У меня к зимним пеням крыша к тому же потечёт.

— Кто?

— Фактор по соли. Остатки у частных рыбарей по сухим стеллажам ещё можно год хранить. Он возьмёт мой пустой зал на два сезона с оборудованием, судя по тому, как распоряжается, ещё и обещал проложить до дальнего заезда новую решётку. Мне этого мало, потому что закрома и кузни у нас есть, а комнат, в которых люди за обедом иногда подпевают или здороваются с моряками, уже совсем нет. Но из своих двадцати семи ты за свой квартет не заплатишь, да и хуже делать людям от этого не надо.

Рута кивнула. Руки заработали отдельно от головы, уже искали для светло-жёлтой занавески проклятый маленький гвоздик в древесине, выступавший точно на месте второй лодочной мачты. Кто-то за окном тренькнул на струне. Жанна Мот в парадном белом платье в ямочке верстачного переулка сдвигала в подошвах высоких ботинок скрипучий песок. Вытащила для следующего шага щиколотку из последней порции грузового песка, утерла контрабасу запотевшую щеку и негромко повела смычком. Входивший к ним Саэль Нер удостоился чести впервые увидеть, как взрослая женщина возносит ладонь, наполовину спрятанную в белой перчатке с обрезанными пальцами, и прикладывает весь жест целиком, с запястьем, к своему бровастому чёрному музыкальному сынку.

После сорока лет жизни Жанна в корсете до тонких колен могла исполнить ещё тридцать разных смешных пригласительных движений в сторону незнакомого мужчины. Ни одного не выбрала. Вместо этого осведомилась:

— Вы в этом зале, госпожа Тая, в следующем месяце позволите себя услышать? У нас со вторника проба, нам бы до Рутиных денег погулять об лестницу. За денежку, понятное дело.

— Вы приводите за собой этим смычком кучку детям, которую потом я за морсоем вымываю.

— А вы с них берите за пиво с укропом.

— Тоже предложение, — сказала Тая, улыбнулась впервые за разговор и вернула рулетку в футляр. — Вот вам срок, две недели без четырёх дней. На следующий день после девятого ужина я сдаю ключ тому, кто назовёт шестьдесят и положит. Пока можете прямо здесь репетировать по утрам. С передышками для моей хрупкой головы.

В городе существовали вещи буквально неубиваемые и поразительной прочности — гвозди со старой пристани, мамин чугунок, лал железной короны из Губчатых земель. Хрупкая голова Таи уже сегодня могла бы претендовать на первое место за выносливость. Но она честно показала Руте сроки и очертила возможности для них двоих. В этом прохладном голом зале находились теперь две живых женщины, верный старый контрабас, покинутый, но по-прежнему собранный к бою пристанный мир, и человек в покрытом лавочными жабрами плаще, совершенно не умевший прислониться к косяку по фигуре. Рута повернулась.

— Идёмте, господин хороший ответ. Раз вы меня приглашаете в гости, я хочу, чтобы сами показали, где задние двери. Оттуда вкуснее всего выходить, если в парадных одни родственники.

Он подал ей свободную от перчатки правую руку. На ощупь в двух местах, на второй костяшке и у самого основания у большого пальца, было три мясистых рубца, как от однажды обжёгшейся вокруг руки железной струны. Ей очень не нравилось наличие у неё такого беззастенчивого любопытства. Но, когда они вышли со стороны погрузочных кранов в отстукивающее минуту за минутой ожидание полнолуния, она всё ещё разбирала пальцами, где начинается последний рубец.

— Рукоятка от велосипеда? — спросила.

— Нос, — ответил он. — Рукоятка с велосипеда у меня пришлась, можно сказать, посередине носа. А след от одного варёного в сахаре наручного браслета я держу на память, чтобы никогда снова так не делать.

— Не засовывайте свою прекрасную руку в карамель, если там моё кольцо.

— А что, а если обвенчаемся?

— Сначала один из нас сварит обед, а второй скажет, можно ли есть. Посмотрим, на каком основании останемся живы.

Он откинул голову и засмеялся так звеняще, что Рута впервые за этот дурацкий день перестала считать, сколько стоит её обещание заплатить шестьдесят серебряных. В конце концов, решили они у ног огромного основания подъёмника на Верхнюю Соту, можно хоть одну сегодняшнюю минуту отдать друг другу попросту так. Процент со следующей из них никому в голову уже не приходило взыскать.

Глава 3. Право на горячий чай

Марк поставил на окно чугунок. Не самый эффектный, не величественный генеральский котёл, каким иной повар даёт понять жениху служанки, что с чужою девушкой ему связываться незачем. Рута просила всего лишь выставить среднюю кастрюльку, вмещающую двух цыплят с хорошую мужскую варежку размером, и получила именно её. На боку находилось прожжённое сердце; однажды в карамели возле старой ручки потерялась виноградина, весь слабый чугун принял эту жертву и признал её навсегда своей. Рута поставила ногу на последнюю ступеньку дворцовой кухни, увидела вытянутое обожжённое сердечко и поняла, что боится прикоснуться к нему обычными своими пальцами. Не заплакала бы, когда на кухне заняты.

— Я его не воровал, — сказал Марк. — Анисья твоя сама прислала мне через четыре дня, как пост у ней кончился. Сказала, раз не зверь я, так неживой посудине со мной ничего не сделается.

— Двадцать лет держишь?

— Все двадцать. Да уж будь любезна, не прислоняй его мокрым боком к сахарной крышке. От неё всё слипнется и сердце нам сорвёт.

Человек, которого на этой кухне называли Барон Грош, одет был в кровельные штаны из грубоватой ткани. Поварские пуговицы на куртке крепились к невиданному механизму обрыва: если на грудь или на спину выплеснется крутая смола, вся одежда должна будет чудесным образом распахнуться и соскользнуть на пол быстрее, чем смола успеет прижечь кожу. Этот секрет был известен в городе трём или четырём напуганным детским рыдающим голосом портнихам и, если верить Матвею, открылся после какого-то грязного греха в печном цеху; Рута знала только стоимость одного такого крючка. Летний заработок её помощника.

На левом окне при желании можно было уместить целую мелкую пекарню. Оно было широкое как ровная улица. Происходило это оттого, что восемьдесят с лишним лет назад серые дворцовые кухни привязывали к горе, обнимая в три приёма огромный совершенно плоский камень, на котором когда-то паслись самые старые здешние козы, а как прижгли камень в торце, так и получится целая комната. Здесь, наполовину в горе, Рута уже когда-то щёткой скребла столы и кормила рано приходивших в большой зал сторожей. Умела даже определять по запаху, какой из медных водяных патрубков нынче лопнул — от рыбного пахло мятым огурцом, от духовой у птичников — мелом. Не рассчитывала стольким обязаться своим носом.

— Я только присмотрюсь. Мы ещё не торговались, — сказала она. — И про мать говорю прямо: ничего покупать у неё больше не стану, если прежняя обида к кому-то липнет.

— Всё правильно, — сказал Марк. — В моих обычаях тебя по матушке любить, но и платить тебе понятно за что. Роке, голову собери! Третья ножка у цыпки только в страшном сне бывает, а у нас на кухне кто-то считает третьей швейную иглу.

Мальчик на неполный миг вынырнул из бульонного дыма, вытащил из огромного заглазурованного птицеподобного сооружения длиной с диван тонкую полосу проволоки и сунул жестянку в паз. Цыпка вынесла всё с презрением неодушевлённого кушанья перед лицом кончины, что ей уже небольшая степень защиты; следующей, пока Рута начинала уже сдалека сочувствовать птице, наружу вышла круглая масляная лампа. Этот несъедобный петух предназначался для освещения на столе в ночь полнолуния, когда королева с городом по старому обычаю пьют один кислый сок без лунного ужина. Рута украдкой посмотрела на Саэля. Насколько у человека должна быть натренирована бровь, чтобы в присутствии половины кухни смотреть совершенно спокойно на маленькую лампу, показавшуюся у петуха между хвостовыми перьями?

— Всю церемонию положено начинать с пробуждения лампы, — сказал Саэль. — А небеременной курице ты, Марк, уже всё равно не вернёшь её душевный покой.

Рута фыркнула почти одновременно с резким коротким смешком женщины возле каменного холодильного шкафа. Та забирала из проточной воды несколько листов тетради. Выложила их на натянутое крупными стежками сито, размотала на полу из рулона тонкую желтоватую полоску высушенного до чёрных пузырей теста и приступила к прикладыванию этой полоски к мокрой странице. Звали её Грано, сообщила она, сама различая в Руте человека, который непременно будет спрашивать про дела и жить мешать. Лунный заказ. Переносила на сухие корзиночки написанные от руки приветствия высоких гостей, чтобы по случаю всеобщего ужина кто-нибудь из них уронил текст в горячий настой и с удовольствием выпил разгорающийся под языком смысл.

— Письма не казённые? — спросила Рута.

— Спрашивают у каждого, какие ему нравятся слова, записывают и уносят. Это, говорят, уже действует, если участник простудился и послал себя без своего личного участия. Но я ведь только пеку. А с меня за способность одной липкой семечки действовать, как живая, не спросят.

Голова рыжей женщины торчала в горячих тестяных парах удивительно неподвижно. Она имела серьёзнейшее научное основание так сдерживать свою уличную нетерпеливость: узкая крахмальная лента едва выносила даже дыхание. Рута наклонилась ниже, посмотрела, что написано у неё в миске. «Из союза наших сторон родится новое согласие». В животе у неё весело булькнуло от одной этой ничем не подкреплённой заботы.

— А удавалось когда-нибудь этим согласие и вправду запустить?

— Детям нравится в слоёнке читать чужой почерк, — отозвался Саэль. — В большом зале такие районные договоры ещё ни разу не спасли ни одного стакана.

— Причина?

— Причина в том, что даже величайшее в жизни гостя признание может связать только блюдо, которое он приготовил или подал. Ни у кого не было в жизни голодных дней, когда они есть хотели словами «взаимно удостоверяем». Слова ничего сами не делают.

Подобные ерши, подумала Рута, хорошо бы ставить на порог любому заносчивому хозяину, который обещает доплатить нанятым к ужину официантам радугой из взрослого чужого рта. А сам Саэль, очевидно, верил в хорошую работу рук и чистые чашки. Полка с надписью «указания и страхи дегустатора» была заставлена рядами разноцветного мыла, маленьких салфеток и кнопок.

Шли, огибая середину кухни, по внешнему кругу соляных шкафов. Расположенные на окнах, они издали могли казаться ступенями резного орнамента, пока плотно болтавшиеся на цепях ключи не выдавали истинное назначение всей этой красоты. Малая соль для солянки, белая крупная, розовая у берега Остренки, чёрная соль прудовая — вся она лежала на разных полках и числилась под одинаковыми отметками о разрешённой продаже. Здесь высшая цена на ковш пять медных. А в порту, увидела Рута на синем нижнем донышке, разрешённая цена была одиннадцать за тот же ковш, без привоза, учёта батареи и подвозных. Главный дворцовый повар, вероятно, мог бросать в кастрюлю горсти две тех тоненьких островных кристаллов и не ломать себе рёбра великой мыслью, улыбнётся ли хватившему этой розовой воды человеку домашнее счастье, когда ему в понедельник платить за рыбу по настоящей расценке.

— Двор покупает по прямому долевому вкладу, — пояснил Саэль. — Покупает столько, что хватает и семи верхним городским больницам. В гавани независимый перевозчик платит торговому откупу и за складской вес. На нынешней неделе у нас будут послы солеварен, нижние купцы и наш собственный казначей. Хотят отменить единственное право соляных поставок. Люди решают, кто и сколько возьмёт соли, чтоб их рыба не испортилась до весны.

— А за остынувший до выдачи суп мне будут вычитать из ставки?

— Это вы поладите с Марком.

Она сдёрнула с уголка белую простынку. На серебряной обычной ложке при малиновом платье красильного патрона сидела ворона, выщипывала из разумного на вид человека большой белый пух. Человек у них на глазах выругался очень складно и литературно и велел высокородной пернатой удалиться. Повредивший ногу кондитер Рауз лежал на мучном мешке, подложив другой мешок себе под поясницу; на ноге вместо обуви перевёрнутая стопором наружу сахарная чашка, чтоб с пятки повязка не сползла.

— Рауз, князь изюма! — позвала его Рута. — Я вас помню. Мама говорила, вы делаете пятак из карамели так, что его в кружку для пожертвований бросать можно.

— Правда была. Только людям уже достало верить, будто мои карамельные денежки станут сами себя тратить на погорельцев. Всё равно через день жертвователи приходили спрашивать, кто скушал их прежний вклад.

Он проводил Руту взглядом в сторону настоящего столового зала. Крошечные её шаги по влажным плитам рядом с прикрытым тесёмкой чем-то гремящим и счастливым в руках. Какое удовольствие одним глазом глянуть на это открытое к осени лицо мужчины, ещё не вполне понимающего, отчего в его рот каждый день вкладывают ложку с вопросом, может ли он вообще больше чувствовать все те же, полагающиеся по протоколу вещи.

— Я два месяца делал кусочки сахара на случай торгов, — сказал Рауз ей в спину. — Знаете ли, выдумывал, что они напоминают. Моя покойная младшая жена делала гирлянды. Меня с моей айвовой помадкой уже четыре года берут по разным столам рассказать, как она скончалась. При живой второй супруге, которая меня врачевала от колотья в печени, уложив на старый сундук, потому что на кровати рожала младшего. Так сказать, распоряжения сердцем во имя лучшей усвояемости. Вы сперва договоритесь, кто и зачем открывает рот у ваших приёмов и почему. Я уж и рад, что мне однажды проклятая капуста под ноги попала.

У растерянно прислушавшегося Саэля чуть дёрнулось плечо. Горелки разрешалось в особых случаях переносить прямо к столу, где привык их держать покойный министр горячего питания. Старый длинный стол перед Рутой был без скатерти, вытесан из нескольких серо-белых с розовым жилками продолговатых плит. Лунную жизнь, как кого-то старого и только недавно узнавшего себя без оправданий, испытывали здесь уже триста лет. Бабка Анисьи однажды мыла в этом зале полы и прищемила палец между плитами. Несколько лет подряд, стоило кому-нибудь произнести слова «лунный стол», она показывала кривой палец и приговаривала: «Вот всё, что мы с него имели». От этого воспоминания Рута только теперь смогла приблизиться, было боязно казаться обученной на глазах у тех людей, которым стоило бы хоть завтра вычистить стол по-настоящему своими руками.

— В двух случаях вкус пропадает, — сказала она. — Раз не оттого, что солонина неправильная: либо человек врёт, либо никто не станет туда вкладываться целиком. А если я приготовила хорошую похлёбку и не буду вам говорить, какого мужчину в семнадцать лет любила?

— Вам тридцать четыре года, — ответил Саэль. — К этому возрасту люди обыкновенно тут учатся говорить о таких вещах непосредственно с попавшимся мужчиной. Можете молчать. Дайте правде быть вашей, реальной, иметь отношение к тому, что здесь поставили. А есть что-то в этой кухне, чего вы хотите?

Рута вытащила из медного паза разъёмные отделочные щипцы.

— Хочу, чтобы мне заплатили, — сказала она. — Три серебряных за каждый из девяти ужинов. Сжалился я, спасла отчизну, солеварка вернула свои пропавшие косички — за всё это другие пусть сами платят. Вместе работают Фома, когда сможет, и Роке, если захочет, им за работу платить отдельно в их собственные ладони. За продукты из моей харчевни выписываете отдельную расписку. И вы не имеете права сообщать на приёме что-нибудь о нас, чего мы сами, присутствуя, не рассказали. Даже если вы вполне уверены, что знаете, кто у кого болен или кто за что любил мою мать.

— А вот это последнее, — сказал Марк, — согласно нашему положению даже не предмет обсуждения. Частной жизни кухонных рабочих в моём управлении нет.

— Откуда, по-вашему, тогда берутся дети? — усмехнулся Саэль.

Глава кухни с величайшим достоинством помолчал, пока ребята у короба с куриной мелочью перестанут ронять потроха, и согласился на три серебряных и отдельную плату настоящим помощникам. Рута приложила к расписке свою левую ладонь, как полагалось на Черпальной: подпись это одно, а соляной отпечаток кожи со свежей мозолью — совершенно другое.

— Для пробной подачи я не буду тратить на госпожу свою жизнь, — сказала она. — Дайте мне горячей воды, горсть калагового цвета и ложку пряного мёда.

Быстрый чай, который варили им в детстве улицей в конце рабочего дня, она налила в простую медную кружку. У них с Саэлем руки разом оказались на краю одного стола. От лунного света, касавшегося комнаты едва-едва двумя ослепительными полосами, собственная кожа стала совершенно серебряной. Даже две ногтевые заусеницы на большом пальце мало что выдавали насчёт жизни под нею. Саэль поставил самую близкую кружку возле своего левого локтя и честно подвинул к губам.

— Небо вкусом на что походит? — шёпотом спросила она.

— На оголённое с трёх сторон железное сито. — Он попробовал чай. — Ещё тёплый. А ваш?

Она отпила. Даже кипяток двигался по самому кончику языка тёплой невесомой пеной. Остального поначалу ничего. Потом вдруг ей вспомнилось, как лет в четырнадцать прибежала сюда в столовую к матери и украла тогда целую медную кружку, чтоб пить из неё чай возле пристани, и как мама нашла её кружку, не добила дочери голову магазином для воров и просто отнесла обратно, ничего не сказав. Ей вовсе в тот день хотелось, чтобы эта вещь принадлежала ей, и отдавать было очень жалко. Не заслуга, не раскаяние, а очень сильное, неожиданное своё «моё!». Обвила кружку обеими руками. Тотчас же мёд разбился на тёплые душистые хлопья, и из-под них полился кисловатый, пьяняще-пряный запах калагового цвета. Она с закрытыми глазами выпила всё, до самого дна.

— Мужчину того я помню, — сказала она Саэлю. — Глупый был.

— Несомненно, — ответил он. — Вам сейчас хочется красную чашечку, в которой взрослые люди не стесняются держать собственное имущество?

Ей сейчас хотелось, внезапно и необыкновенно сильно, пытаться узнать, почему он целует свой край стакана так осторожно, и что у него на ногах под этим хмурым плащом вместо нормальных ботинок, и где над его лбом срастаются странные почти прямые брови. Вместо ответа на его тихое приглашение она встала и перечислила Марку, что купить к завтрашнему ужину. Не каждый вопрос необходимо оплачивать мистическим привкусом, решила Рута, вновь ощущая на губах сотворённое против собственного желания счастье. Некоторые можно просто неплохо проварить.

Глава 4. Суп, который придумала женщина

Утром у Круглых ворот продавали место рядом с женщиной, которая вчера вечером трогала локоть королевы. Место было видно издалека. Хозяйка улучшенного за ночь локтя устроилась на подставке от головного убора для лошадей и держала под аркой зелёную надпись: «Я была с нею рядом. На правую сторону не толпиться». Работало. Люди у левой ей улыбались, некоторые от одного только этого кругового воздействия чувствовали себя на несколько медных единиц лучше. Они склоняли к хозяйке осыпанные мукою головы, платили за возможность задать свой вопрос, и, пока шёл положенный им крошечный остаток общего королевского времени, никто не требовал узнать, зачем понадобилось Леяне взяться за левый локоть простой, сорок пять лет прожившей в одном и том же подъезде гладильщицы.

Чуть за полдень подняли длинные решётки над входом в Верхнюю Соту. Навстречу прошёл торговец Кин, кативший сладкие кофейные орехи на трёхколёсной тележке. На передней полке у него стояла такая же надпись, только вместо «рядом» — «передал ей миндаль».

— Гляди-ка, что делается, — сказал Матвей, проводивший Руту к подножью конусного проезда. — Пройдёшь ты через этот двор, как пить дать к ночи один из нас двоих может легко написать на вывеске «Родственник мыла, коснувшегося самодержавной руки». А зачем бабе надо было пропускать её вперёд?

— Проход узкий. У одной в руках большая корзина, другая шла с мальчиком, Матвей. Если бы ты читал в листках, что про людей пишут до их встречи с королевой.

— Так всего же не успеешь! Я только в городе да на реке родился, а у королевы мест сразу почему-то два десятка.

Отец хотел задержать её на обыкновенной длинной ладони. Она почувствовала, хоть прощальных ласк у них не водилось — все люди, ходившие в рабочей разорванной одежде, слишком дорожат совсем малым, совершенно лишённым положенного этикета телесным теплом. Он хотел дать ей с собой небольшую, вдребезги побитую прежними наставлениями вещь, судя по всему, материнскую мятницу для овощей: переплетённый вручную тяжёлый зелёный ухват, вытертый десятью тысячами приготовленных картофелин.

— Страшно мне, — вдруг сказал он.

— Мне тоже.

— Так на человека, к которому ни разу судьба спиной не поворачивалась, ты у меня похожа иногда, что даже я думаю: чего её незачем предупреждать. А я боюсь, что тебе там станут кивать, как твоей матери. И ты поверишь. Ты-то в самом деле уверена, что они тебя за красивое чело кормят?

— Сам-то что думаешь?

— Вчера горбушку при мне жарила. Хорошая. Звать тебя неизвестно за какие грехи им пришлось, оно меня изумляет: в городе полным-полно прекрасных здоровых поваров с добротными целыми пальцами, а потребовалась именно ты.

Рута убрала мятницу в корзину и обняла его, отчего он ужасно смутился и уронил к ногам бесплатную кожуру от снятого с неба солнца, кольцо для крышки бочонка с горчицей. Нашла и подняла. Положила его на место в кармане, а отца отправила приглядывать за «Полмиски». Ни одна высшая придворная задача не требовала в это утро большего.

Днём они с Роке разделывали свежих рыб, островитянка в тёмном переднике, имевшая у виска странный серебристый шов вроде листа, обмазывала уже подсушенные рыбьи бока молочной плёнкой. Готовую рыбу укладывали в щепяную корзину в три слоя. Один слой сухого, другой отваренного, а сверху, чтобы остался свежий привкус моря, несколько капель мятного настоя. Рута на втором слое сменяла островитянку, заглядывала в корзинку, когда

мятая косточка уже съёжилась и осела на мясе отличным пергаментом, давила пальцами, перекладывала вверх донышком.

— Как вас называть, если кому-нибудь сердитому надо?

— Меня никак, — сказала женщина. — Сердитые давно научились приятно со мной обходиться. Ты нюхай. С первым молоком рыба должна ходить за тобой, будто потеряла маленькую серьгу и думает, что у тебя в руке. А это второе надо дождаться совершенно свежим. И ещё. Ты, когда станешь у стола, если там похвалят нашу заварную подбивку, не говори обязательно откуда она.

— Боишься, что нас с тобой по матери узнают?

— Боюсь, что разрекламируют и полезут с расспросами, кто чесал мне спину в те годы, когда я научилась замаривать рыбу щепкой.

— Хорошо. Дай мне ещё каплю свежего молока.

Роке повернулся к ним от стойки, весь в равномерной серебрящейся рыбьей чешуе, как огромная солонка в виде злопамятной королевской щуки. Его ровесники мяч гоняют, шепчутся под окнами цирка, а тут тебе деревяшка вышлет приказ растопить сорок свечей до румяного золота, и кто знает, как бы он жил, если бы родился на берегу, а не возле арки придворной почтовой коньки.

— Рута, а если я возьму сам и подам свой хлеб? Без старшего разрешения?

— Тогда ты берёшь за него деньги с того, кому подал. Или кормишь даром, если он тебя попросил и тебе хватает собственного на ужин. Ты кого-то нового туда хочешь посадить?

Он пожал плечами.

— Я хочу сам сесть.

Она дотянулась до него, стерла с одной щеки чешуйку. Пристала намертво, прошлась до кожи. Рыба этого года держалась за мальчика куда пылче, чем полагала Рута проигранным рыбой сражением с поварским ножом.

— Твоего места там нет?

— В обоих залах прислуга при столе бывает стоя. Сидят равные.

— Когда так изящно называется отсутствие стула, я бы ела стоя целый век, только бы не умереть от равенства в неположенном месте, — сказала Рута. — Суп помешай.

Первой Руте представили в столовой даже не Леяну. Высоченная, в том возрасте, когда у молодой зрелой женщины только имеется два или три тонких шрама на лице да ещё целый срок, на протяжении которого с ними будут здороваться у причала, дама в брусничном коротком жакете ждала возле посольского кресла. Под глазами коричневатая полоса: до ночи пробирались из залива против ветра. В волосах блестело, если присмотреться, совсем крошечное живое явление, возможно соль — хрусталики на седоватой, давно не тронутой гребнем височной прядке.

— Вира Стён, — представилась она. — Говорят, вы ту артистку с виолончелью к себе переманили, что на подвесном мосту играла?

— У неё контрабас. Нам дали зал на два часа попрактиковаться, вообще-то.

— На амбарской плоскодонке виолончель идёт как боевой инструмент, потому что арку большую над палубой поднимают и привязывают к ней струны. Можно им ветер с утра вызвать. А у большой — дерево звучит куда страшней. Пускай приезжает на Остренку, мы ей покажем, как смолить такое дерево, чтоб не вбирало воду.

— Скажите ей сами, её зовут Жанна. Придёт завтра играть к нижнему мосту.

Дождались правительницы. Леяна спустилась по боковой лестнице, в тяжёлых чёрных штанах, издали походивших на разрезную юбку, крошечные золотые часы вместо придворного бриллианта. Поправила одну из дверных портьер, подошла к своему месту во главе стола, провела большим пальцем по бронзовой ручке кресла. Рута удивилась только теперь, что у самых приятных и красивых людей перед большой работой одинаковое движение у рта. Губы

прижимаются как от горькой приправы и распускаются на миг. Подумать только: целых сорок человек в городе продали сегодня право рассказать, как подали этой усталой женщине локоть, миндаль, ложечку и вежливое прошу вас вперёд. А вот кому из них пришло бы в полдень в голову просто за неё на работе постоять?

За советчиком Саэлем осталось два места, на одном стоял тяжеленный поясок с фарфоровым футляром для вправления ножей, на другом широкий по всем признакам неприкосновенный придворный сюртук. Пустовало. Роке на глазах у неё поймал на полёте выброшенную чьей-то грудью скомканную салфетку и отправил в корзину. Потом был внесён ужин.

Разливала она сама. Сначала Вире как приехавшей издалека. Потом Леяне как хозяйке. Дальше по кругу. Рыбья кость сидела плотно под молочной плёнкой, у одного старого немощного человека дрожала рука, одним ногтем он задевал краешек дрожавшего льняного поля каждый раз, как ему вздумается порадоваться простой тарелке. Внутренние окна столовой потемнели; луна стала почти полной, осталась тоненькая щербинка с одного бока. Кого-то удивляло, почему всё-таки не полная, раз целый двор успел приготовиться к первому праздничному вечеру.

— Суп Анисьи Мял, — объявил Марк.

Рута почти всей кожей почувствовала: не надо было этого говорить. Аромат у рыбы ушёл сразу. Вода обтекала язык без всякого воспоминания о том, сколько туда посажено на кильку масла, сколько ржаной крупной щепочки шло попутным ветром, кто снизу оставил миску сливочного водяного сбора, как то делается у пристани. Марк ещё не понял. Саэль ложки ко рту не поднял. Рута заметила, что он переносит золотистую ягоду морошки с края на середину и смотрит, обволакивает ли её жёлтая рыбья пенка. Вира поморщилась с первого раза. Её спутник улыбался вроде посетителя, от которого будут ждать новое мнение по всякому безвкусному поводу. Офицер с горбинкой в медном мундире взял из солонки комочек и стал отсчитывать чужие секунды до первого вкуса.

— Дурно размешано? — спросил человек, никогда не нюхавший готовой рыбы в бедных кварталах.

А мать готовила иначе. Рута неожиданно увидела, до чего хорошо помнит этот виноватый, тоненький момент своего восемнадцатого года, когда над ней, поворачивая в маленьком отчаянном окне сломанную дуршлажную ручку, мать взмолилась всерьёз и угрозой в голосе: «Не буду я туда запихивать молоко, пропади ты пропадом со своей загущкой, у меня весь борт в понедельник судьи изъявили осмотреть. Рыба у тебя таки скиснет. Чтобы я на своём прилавке вместо обеда продавала людям простоквашу, да пропади ты с этим вымоченным сеном». Так сходила с неё, когда она смертельно уставала, овечья шкура доброжелательной матери, под которой оказались характер, почти неистовая годами защищённая гордость и страх, что вот-вот кто-то, быстрее и моложе, начнёт кормить людей лучше неё. Подача щепоточного бульона, рыбка в бумаге, выпускающая пар к правому окну, две формы молока, одна холодная, одна подквашенная до густого творожистого края, — всё это самой Руте надо было носить на себе, рассказать человекам под городским навесом, самой подписаться и потерпеть, если кому-то не подойдёт. С Анисьи брали. У Руты покупали раньше только тогда, когда она торговала «как у мамы».

— Мама была ни при чём, — сказала Рута.

Голос на половину зала вышел тихий, ей было как раз в нём удобно. Крикни громче — станет сырой и чужой, как эти огромные приёмные полотенца, которые предлагают высокому гостю, если он уронит каплю на колено.

— Я придумала додавать кислого молока к первой порции, а маме не понравилось. Она любила крепче, темнее, мешала рыбу, когда та на третьей минуте снимет жир. Вы едите мой суп. Простите за враньё. Марк не знал. Я и у себя на Черпальной последние пятнадцать лет что придётся про собственную славу говорила.

Ни один прибор не зазвенел. В первый миг ей показалось, молчанье встало просто из-за тяжести общей белой груды, которую положили им на сердца вместо ужина. Тогда криво и снисходительно, ни в малейшей мере не о похвале думая, Вира отпустила напряжённые губы. Прожевала. Из оторвавшейся мягкой оболочки, внутрь которой материнское старое молоко было ею вложено против материнского вкуса и воли, раскрылась горячая, почти прозрачная рыбья душистая мякоть. Вдохнула, выпила оставшийся бульон, пододвинула тарелку снова. Теперь купцы защёлкали языками, прося добавки, ещё не зная, как будто зависевшая от них придворная церемония должна их назвать. Те, кто ничего из этой местной пищи не узнал, сперва прислушались к себе, потом через одну вернули миски к краю и съели только ломтик. Вкусы у всех оказались разные. Из-за этого Руте и полегчало.

Она обернулась к окошку. Островитянки там не было. На её месте чистый камень подсобного прохода, закрытая в третью щель створка и засунутая в деревянный распор порода ножки с оттянутым вбок пятнистым каблуком: не пускают.

Она положила разливательную ложку, вышла за дверь. Плотные посадочные списки за пиршеством велись, очевидно, преданною до глубины души семьею тюремщиков, которые могли сказать о всяком госте всё, начиная от номера родильной бирки и заканчивая немалой суммою, которую его потомки будут отдавать за кислород через триста лет. На листке воротной охраны люди кухни числились в конце, тонким шрифтом, кроме госпожи Мял и двора его служащих, кому по должности положено. В списке напротив отдалённой скамьи стояла уверенная кудрявая подпись старшего дегустатора Саэля Нера.

— Человек готовил, — сказала Рута. — Кто решил, что она не должна войти?

— Я, — ответил Саэль, догнав её возле локтевой скобы. — Слушайте. У нас на первую ночь ровно восемьдесят четыре места внутри одной комнаты, при этом входит до половины сотни людей после почтового звонка. Я оставляю тех, с кем сюда приходят по договору. Ваши работники должны быть заявлены заранее.

— На двух креслах лежат сюртук и медный ящик, дорогой мой договор. Почему её там нет?

— Вы спросите у неё, хочет ли она туда, — отозвался он, и азартно знакомый узел в голосе для Руты скрутился новой угрозой. — С таким делом легко ходить между кухней и залом впереди другого человека. Я с утра её спрашивал. Не хочет. Но завтра я могу её провести под своим именем, если это действительно необходимо.

— А предложили вы ей что? Сидеть и молчать или заговорить, только когда разрешат те, что читают напечатанное про свои отличные достоинства на вафле? Да у меня из самой дурной жести больше выйдет поля под жаровню, чем вы оставили ей по-честному на свободное движение.

— Рута. Что, если вы просто подойдёте и узнаете, как её зовут, вместо того чтобы выставлять сюда всем на доброе внимание?

У него в зрачках вовсе не было самодовольства, которого так жадно ждала она, не было и сиротского, обвиняющего в благих намерениях недоумения. Он действительно ей предлагал тогда сделать простую вещь. А она не могла. У крохотной бессмысленной загородки, где двоим их можно было обниматься, оставшись целиком невидимыми из церемониального зала, возникли вдруг бесконечные запасы колючей злости и невыговариемой способности всё сделать лучше прежнего.

— Значит, утром спросим, — сказала она. — Своего сюртука пока забрать не хотите?

— Он принадлежит покойному хранителю вин. У нас считается плохим тоном его убирать.

Она дёрнулась, в полном восторге от очередной степени всерьёз несомой чужой наследственной ерунды. Саэль стоял смирно, всё ещё с бледным напряжённым лицом. Затем продолжил:

— А за рукавом мой пропуск в кухню, который я положил, дабы не забыть. Два кресла я немедленно освобожу хотя бы от тех из нас, кто умер.

У чужого человека с Рутой вдруг оказалось невозможное общее богатство — одна и та же яркая, до глупости смешная сцена неуважения к седому винному сюртуку, чьё молчание стоило сейчас как будто весомее голоса каждого, сумевшего приготовить суп. Она засмеялась первой. Он тоже. А посреди их маленького смеха у окошка, из которого выгнали чужую локтевую тень, ещё оставалась неоплаченная боль, и сколько бы ей ни хотелось взять его за нагретую руку, она этого сегодня себе не позволила.

Глава 5. Луна без ужина

Каждый год в конце ярмарки, когда наступала первая полная луна, центру города полагался кислый пунш, работающим в больнице людям — кувшин холодной мятной воды и час сна с полуночи до утра, а хромым козам право пройти по Фарре в серебряных башмаках. Последний обычай придумала сама госпожа Леяна в семь лет. Они с кормилицей сидели на боковой половине Цапельной лестницы, смотрели на сотни людей, входящих и выходящих со двора, и единственные двое из всех, кому нельзя было вставать и идти выбирать себе торжественную забаву, оказались принцессой и сломавшей два копыта козочкой. Рута знала эту историю в десяти вариантах, но самый правдоподобный заканчивался костями обоих королевских сапожников, ещё месяц выковыривавших из нормальных женских рук грязь от козьих копытец. Кто бы ни придумал хорошую историю, смысл у неё один: в час полной луны двор отдыхает от своих обязательных лунных ужинов, и девять Рутиных выходов на второй вечер прерывались праздником.

Ей в это утро полагалось выспаться. Ни один уважающий себя обжаренный судак ещё не требовал беспокоиться о нём, в «Полмиски» сладкая неумело выспавшаяся тишина. Рута лежала на спине с плохо прикрытой простынью щиколоткой и сегодня даже не могла потерпеть собственное радующееся чему-то бедро на слишком мягкой с правой стороны постели. Когда по городу идёт в любую сторону человек, с которым споришь, чтобы лишнюю секунду возле его плеча побыть, взрослый ум не в состоянии никаким даже счётом приспособить к спокойствию коечное пружинное дело. Рута сошла на пол в одних носках и решила приготовить для себя загадку, как любит мать маленького ребёнка загадывать самой себе, пока тот спит: «С какой стороны ты, дорогая, хотела бы, чтобы он лёг?» Ответ сам себя поймал на бессмысленности, как котёнок в большом ледяном блюде, и Рута вскипятила воду.

Саэль в это время шёл мимо нижней стороны её дома, сопровождая за жалобное малое жалованье родню без среднего слуха. Красный барабан двоюродной сестры, когда-то пущенный в ход вместо выброшенного с ледника брюшного меха, натянули удачнее, чем было для её семьи положено природой. В браконьерских подвалах между Солодильным спуском и Четырьмя площадями через каждые двадцать шагов попискивали тонкие свирели. Праздник просыпался. Жанна Мот со своими тремя музыкантшами вытащили на пробу лучшие струны на ручном ткацком станке, которые у прошлого хозяина могли лучше всего идти на рыбьи верши. Поскольку Рута всё равно за окном босиком смотрела не на драный самовар, а на него, Саэль отдал барабан сестре и остановился.

У него на плече сидела почти лишённая славного домашнего оперения курица. Тощая, в красненьких трогательных чулках и с кривым блестящим клювом, головой не больше розовой ложечки. Курица оставалась самой высокой виденной ею птицей, потому что поднималась вверх из левого нагрудного кармана, наполненного сеном и льняным платком.

— Килька, — представил ей птицу Саэль. — Я пообещал приехавшей в гости тёте не оставлять их в одной комнате. У нас в самый первый вечер исчезла маленькая сахарная вилка и выяснилось, что нужно кому-то одному решить, не сильно ли его недоброжелательные намерения по отношению к слабому, чувствительному существу заметны всему обществу. Ох уж эти столовые вилки.

— Почему Килька?

— Когда я её покупал, торговец птицей везде кричал «килька сушёная», а когда я ему в отчаянии на одном из углов поверил, выяснилось, что он с утра вдруг решил сменить дело, но призыв ещё новый не заучил.

Весьма любопытная птица вытянула шею и пригляделась, хватит ли ей ещё трёх дюймов торговой наглости, чтобы пролезть в окно Руты и найти там что-нибудь съедобное. Рута

впустила обоих, предварительно наведя в голове столь желанный телу приличный порядок. Оказавшись в «Полмиски» раньше отца, Саэль тут же без спора начал мыть картофель. Посторонние мужчины тут по-своему приветствовались. В отдельных случаях за ними с радостью оставляли малые беспричинные шаги по чистой комнате, возможность открывать задние стёкла, чтоб два еженедельных посетителя, вдова и её пёс, проходили сбоку, минуя полное женских докучливых взглядов ожидание.

— Я с вашей помощницей поговорил, — сказал он в кухне. — Попробовал развести вещи. Она хочет свободно пройти и поставить блюдо. Ещё хочет, чтоб все встали с её места и позволили посидеть, когда устанет. И оставляет за собой право без единой живой души уйти обратно. Я перенумеровал нашу с вами половину стола, потому что Мундуш, царство ему небесное, больше на вино претензий не имеет, а сюртуку я заказал дорогую раму.

— Вот видите, как дорого обходится поэзия на службу. А зовут её?

— Себя вам сама назовёт, если захочет.

Картофель из-за холодной лавочной воды сразу приобрёл серебристую упругость, тонкие розовые и янтарные пятна проступили на шкурке, будто выступили к ним навстречу из-под плотной грязи тёплые родные лица. Рута вынула сразу два маленьких ножа и подала ему один лезвием к себе. Он понял, взял за рукоятку, повёл прямым длинным рубящим движением вдоль картофелины. Она поймала его руку.

— Вы едва не разрезали мою доску надвое.

— Жестов у нас в верхней кладовой требуется не меньше, чем разрезанных картофелин. Покажите сами.

Она выбрала корнеплод в половину кулака. Хорошо обдерживаемая в правой руке картофелина чуть подворачивалась ей под остальные пальцы, левым лезвием Рута начала приподнимать шкурку, не ноготком, как всю жизнь снимала яблоки, а кончиком, почти у самой деревянной рукоятки примостившимся. Оголила одну длинную совершенно тонкую полосу, тут же обмакнула картофель в холодную воду, снова прижала. Позволила Саэлю, близко прислонившемуся к двери на стеклянных петлях, поднять её левое запястье себе на ладонь. Чувствовать, как движется рука у работающего человека, можно по-разному. Едва ли он сюда за утренней операцией доставки жареного картофеля своей двоюродной сестре в оркестр явился. Но учился вправду неплохо. Со второй картофелиной сладил, как будто всю свою жизнь дворцовый звукоряд снятого с одной закрутки яблока теплился у него прямо под сердцем.

— Не спали? — спросил он.

— Вроде вашей паузы на нашей вчерашней рыбине. Вижу, что хотите, а не скажу себе, что именно. Такое же у меня иногда случается и с мыслями о собственном доме. Когда придёте проведать «Семечки»?

— Уже пришёл. Если пустите.

Четверть часа потребовалась им на поход за глиняным пристанским кувшином с чистым смальцем и ворохом тёплых, будто натопленных от рук, тарелочек. Когда на лавках возле временной сцены с вывеской «Коваль и дочь. Греем темноту за счёт стекла» стали устраиваться любители раннего картофеля, пришлось много, быстро и почти без возможности сложить впечатление работать. Неумелая на высоких каблуках долго сплачиваемая независимость двоих служила им трезво и даже по-хорошему скучно. Никакого невозможного прекрасного познания друг друга не случилось. Саэль отлично понимал, когда ей надо получить следующую тарелку, когда свой нож, а когда на широкую оснащенную провареннными деревянными ручками крышку надо дунуть, чтоб капли не полетели ей под ворот вода. Под заказ подбросить покупателю лишнее светло-жёлтое ржаное пятнышко, сочное и очень зовущее к следующей порции, он совершенно не умел, Руте приходилось делать самой. Зато клиентов, застревавших у стойки, он мягко сдвигал на два-три шага боком и ещё умудрялся объяснять тем, кто стоял в очереди, какой степени жару сегодня просить.

— Ты почему на самом званом приёме всё время держишь пальцы невдалеке от лица того, кто рядом ест? — спросила она, когда прошёл острый зуд быстрого кормления. — Ох, это я не с целью фамильярности, само сорвалось.

Он с удивлением понял, что ему приятно её неожиданное «ты». Пять лет назад после речной лихорадки ему пришлось заново учиться своей работе. С тех пор он прежде всего смотрел, как люди едят. Ему требовалось время, чтобы вместо своих прежних неотступных ощущений читать чужие лица. Но Руте пока не полагалось знать, насколько для него это трудно. Сам он не считал это личным стыдом, однако когда говорит одному человеку что-то очень важное, удивительно быстро доходишь до весёлого, запинающегося «только ты не пугайся так сразу». И он ответил честно, без привычной обёртки:

— Мне просто надо следить, с какой скоростью у них ложка сдвигается к губам от прежней точки. И нет, я не в обычаях постоянно видеть у всех одну только красоту лица. У людей бывает очень много лишней зубной слюны, чего за столом не положено обсуждать. К счастью.

Она приняла и его ответ, и перейдённую уже невидимую линию «ты», а на глиняной плитке напротив, за ещё горевшим огнём, красным медным хребтом встал барабан, по которому ударили трижды. Сначала в него ответила целая рыночная страда, потом шуршание, потом оглушительный совершенно настоящий куриный вопль: Килька забилась туда спать, тёплые внутренности барабана пригрелись на утреннем солнце, и теперь она в полной, выгораживающей её отчаяние независимости застряла между двумя распорками так хорошо, что никто из холостяцких мальчишек не мог вытащить даже хвост. Придётся разбирать инструмент.

Рута влезла на сцену с подолом, заляпанным смальцем. Младшая из «Семечек», Лина Мот, сестра Жанны лишь однофамильная, уже отвернула серебряную скобу, и все четверо вместе с маленькой романоватой, неизвестно откуда взявшейся под сценой Стешей вдавили тугой плоский ключ до самого упора. Получилось. Курица пересела к Саэлю обратно в карман с совершенно невозмутимым лицом, лишь украдкой проверяя, выспалась ли уже, хватит ли ей теперь оставшегося дня. А барабан, когда туда впопыхах и для проверки несильно стукнули, издал вдруг половину замечательного косого удара. По внутренней обшивке, катясь между балками, ходило маленькое бежевое яйцо.

— Вот видите, что делаете удачною вашей музыкой, — сказала вдова Тая. — Я хотела мира и колебаний, получила целую постановку.

— С этого времени вам любой приходящий в дом человек обязан снести не менее одного яйца, — сказал Саэль.

Пронесли на полотне куриное достижение мимо сцены, чтобы музыкантши могли на него полюбоваться. После закрытия всех лавок, когда серое тело города прогрелось в ярмарочном человеческом гомоне до собственных мыслей о вечере, он у входа в нижнюю часовую мастерскую снял с головы Руты пригоревшую картофельную соломинку. Она думала было — остановится, захочет сделать ещё что-нибудь, отчего больше не надо будет считать простирающиеся перед ними вечера. Саэль только открыл ей дверь к себе на верхний этаж и принёс воду смыть с рук жир да растереть больной большой палец.

— Возвращаться лучше через старый туннель, — сказал он. — Пойдём к рынку? Там у меня старик с почтой из Остренки ждёт, он своих два письма со склада никак не решается через привратников нести. Хочешь сходить? О том, как сейчас грузят лодки и что у них под седлом, иной раз куда лучше послушать ходока, чем принести пятерым министрам соответствующее течение блюд.

На втором этаже под одной крышей с часовщиками в открытой двери проступала довольно просторная комната, принесшая ему в личную собственность каждую свою лёгкую ненужную щепочку: три побитые миски на полке, красный шнур для газового рожка, пёстрый тазик, шесть гвоздей от плохого ящика, в котором приехали к нему некие помеченные цифрами пузырьки. На каждом пузырьке носиком стеклянная пробка, которую можно открыть

одним пальцем и поднести к лицу. Деревянная обеденная ложка заменяла малой уличной старой курице насест. Когда Кильку водворили на этот маленький хорошо прогретый деревянный трон, из комнаты всё-таки пришлось уйти, чтобы хорошее остренькое начало взаимного влечения не перестало, как неумелая хозяйка считает, неловко держать свою застёгнутую на все пуговицы вечернюю роль.

Курьер с двумя письмами дожидался под последним фонарём. Из писем три человека давали согласие вести свою рыбу через единственную ночную лодку, которой выдавали соль по островной цене. Два десятка других людей с рыбой на лодках просили объяснить, почему их на волю Божью оставили у верхнего буя. В трёх больших бочках хариуса под крышкой уже выступила розовая слизь. Через неделю к зимней упряжи подойдёт семь новых семей; еду им не за какие деньги везти к материку свежей, да и таможня не пропустит.

Они прочли письма вдвоём. Уже так подходили под одной куцей, гаснущей на ветру лампой друг к другу, чтобы никому не надо было читать громко. В ушах Руты вода ответвилась к морю за все эти бесконечно длинные дни: доброе её маленькое предприятие за шестьдесят серебряных, которого она у Таи просила и которому хотела целиком отдать свою долю будущих трудов, лежало на одном берегу. На другом свежую испорченную рыбу скоро придётся выбросить на камни, за неё сегодня уже кому-то уплачено живыми деньгами. Может, друг другу нужны и те и другие, думала она, а прогуливавшийся между берегами высокой старой Фарры длинный мост то и дело вместе с сегодня оставшимися на нём людьми хорошенько покачивался от представившейся возможности двигаться.

Глава 6. Две клешни

В посольском доме возле Соляных ворот детей с рождения учили не выбрасывать крабовые панцири. Из первого панциря, оставшегося после свадебного ужина, в семьях на Остренке делали мыльницу. Хорошо, что у нас никто не разводится посреди недели, пробормотала Вира, тяжко опустившись на нижнюю ступеньку галереи и чуть сдвинув с одного плеча парадный брусничный жакет. Иначе вы представляете, сколько заляпанных не в меру развитым семейным счастьем мыльниц надо бы нам с вами сегодня мыть.

Роке честно попытался представить и вместо этого очень тихо, досадуя на самого себя, вздохнул. В посольском доме он сегодня был с настоящим заданием, совсем не похожим на беготню от одной величественной спины к другой. Рута взялась ставить в первом ряду трапезной двенадцать медных чашечек с зернистым миндальным молоком и перетёртым в нём белым редисом. Нарезать редис тонкими полупрозрачными кругляшами, укладывать в воду, отваренную на тёртой луковой чешуе до цвета мёда, и вынимать, прежде чем возьмёт на себя горечь, Роке уже вчера успешно научился. А послу было велено взять рыночных крабов, живых, не привязанных к деревяшке и за всю дорогу ни разу не перебранных руками. К коробке Вира приготовила свою корзинку из грубой крапивной верёвки.

— И то, почему нужен именно новый краб, говорят, знаешь по собственному долгому опыту? — спросил Роке и бодро полез в тёплый складской чан, надеясь сразу не выронить положенных на его ловкость человеческих надежд.

— Совсем большой хватает себя за сердце двумя лапами, если ему больше суток дурно. Ты его тогда пищей не порадуешь. А маленький до второго дня не трогает клешнями бок. Ищу именно средних. Четыре штуки, по восемь концов. Передние две, клешни, нам две отдельные вещи. Я в шесть лет по веленью матушки вытащила своего первого, и он мне, как видишь, с успехом раздавил мясо у мизинца.

Показала. С виду вполне приличная кисть оказалась с изнанки словно подрубленной грубым ножом, белое пятно на самом кончике мизинца, у его корня длинная отметина бороздой вниз. Роке понадеялся разрешения самому, взрослым собственным пальцем потрогать такую беду. Вира его ладонь мягко отстранила.

— У нас на приёмах, когда кому-то рассказали истинное, иногда кажется, что и подержать его можно. Только один раз в жизни эту руку у себя нашла, и она до сих пор моя.

Мальчик отстранил руку от старшего по званию, полез снова к крабу. Два больших тёмных пятка у гладкого острого бока норовили в чернильной воде схватить его, как духа, непосредственно за два чуть не размирившихся между собою пальца. Роке уже умел обрывать у целой неразделанной курицы надкожный жир одним движением, но краба трусил взять. Идиотское дело, думала смотревшая с крыльца на обоих Рута, чему их всех учат. Страшно трогать, надо не трогать, а ему в голову за столько лет вбили, что страх правят леденцовой водой и тугой поступью, и положено после них всё-таки взять. А можно и не брать.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.